

Николай Асеев:
из публикаций в печати Дальнего Востока
(1918–1920) *

Е. В. Капинос, И. Е. Лоцилов

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ СО РАН

Аннотация. Публикация включает три текста Николая Асеева: два рассказа – «О жалости человеческой» (1918), «Рассказ ни о чем» (1919), и статью «Мена имен» (1920). Они были напечатаны в малоизвестных и труднодоступных дальневосточных журналах («Великий океан», «Бирюч», «Творчество») и больше никогда не публиковались, – как и многие другие произведения Асеева, написанные в дальневосточный период. Между тем в них представлена новаторская поэтика, основы которой были заложены в эпоху «Центрифуги», от которой позже поэт сознательно отказался, приняв «подчиненную роль при Маяковском» (М. Л. Гаспаров).

Рассказ «О человеческой жалости» вобрал в себя травматический опыт свидетеля и участника событий Гражданской войны, статья «Мена имен» и «Рассказ ни о чем» содержит развернутые рефлексии, связанные с кризисными явлениями в языке и литературе.

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-18-00127 «Сибирь и Дальний Восток первой половины XX века как пространство литературного трансфера».

Благодарим Е. Э. Худницкую за предоставленные копии из редких изданий.

Капинос Е. В., Лоцилов И. Е. Николай Асеев: из публикаций в печати Дальнего Востока (1918–1920) // Критика и семиотика. 2020. № 1. С. 292–322.

Публикация снабжена вводной статьей, содержащей краткие сведения о Н. Н. Асееве и дальневосточном периоде его творчества (конец 1917 – январь 1922 г.). В ней также рассмотрены некоторые контексты, важные для понимания публикуемых произведений. «Рассказ ни о чем» и «Мена имен» сопоставляются с трактатами, статьями и эссе В. Хлебникова, С. Есенина, О. Мандельштама, Ю. Тынянова.

Ключевые слова: авангард, дальневосточный авангард, «Центрифуга», Н. Асеев, С. Третьяков, журнал «Творчество», журнал «Бирюч», журнал «Великий океан», проза футуристов.

УДК 82.0

DOI 10.25205/2307-1737-2020-1-292-322

Контактная информация:

Капинос Елена Владимировна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора литературоведения Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Россия, kulis@mail.ru)

Лоцилов Игорь Евгеньевич – кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора литературоведения Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Россия, loshch@yandex.ru)

Трагизм судьбы Николая Асеева в одной фразе выразил М. Л. Гаспаров, назвав его «поэтом замечательного таланта, сознательно ушедшим на подчиненную роль при Маяковском, а потом быстро обессилевшим в языковом бесчувствии новой эпохи» [Гаспаров, 2006, с. 9].

В другом, более развернутом высказывании о поэте, Гаспаров писал:

Николай Николаевич Асеев вошел в советскую поэзию как литературный спутник Маяковского. Но сложился как поэт он еще до революции почти вне влияния Маяковского – на перепутье между Хлебниковым и эпигонским символизмом. Опорой для его творческой самостоятельности – до поры до времени – были два дара. Во-первых, это было замечательное чувство языка; отсюда знаменитое в свое время «Объявление», игравшее созвучием «овса и сена» с вывески для извозчиков и «Отца и Сына» из символа веры. Во-вторых, это редкое чувство ритма, давшее до революции такие стихи, как «Песня сотен» и «Пляска», а после революции сообщившее лучшим его стихам ту легкость и песенность, которой недоставало Маяковскому [Русская поэзия..., 1993, с. 543].

Родом из провинциального Львова, учившийся в 1909–1912 гг. в Московском коммерческом училище и бывший вольнослушателем в университете, но не кончивший курса ни там, ни здесь, он входил в словесность самоучкой. Первые его стихи были напечатаны в 1911 г. в журнале «Весна», приюте начинающих графоманов; там он познакомился с Ю. Анисимовым, вошел в его кружок «Лирика»; у Анисимова сблизился с Бобровым и Пастернаком и в 1914 г. образовал вместе с ними группу «Центрифуга». Пер-

вый, еще ученический его сборник «Ночная флейта» с предисловием Боброва вышел в «Лирике» в начале 1914 г. За ним последовали брошюры 1914–1915 гг. «Зор», «Леторей» и «Ой конин дан окейн» (по-цыгански: «люблю твои глаза»). В 1916 г. Бобров составил из них второй сборник Асеева «Оксана» (по имени К. М. Синяковой, ставшей женой поэта), дополнив его новыми стихами («Пляска» – из исторической повести для детей в журнале «Проталинка»). Здесь Асеев выступил как вполне определившийся самостоятельный поэт. В 1915 г. Асеев был призван в армию (Перун и Один в его стихах – символы воюющей России и Германии), служил в запасном полку, после Февральской революции был выбран членом Совета солдатских депутатов, провел во Владивостоке годы гражданской войны, там выпустил третий сборник «Бомба» (1921). В 1922 г. он возвращается в Москву, вступает в организуемую Маяковским группу «ЛЕФ», подводит итоги раннему творчеству книгой «Избрань» (М.; Пг., 1923) и начинает новую литературную жизнь [Русская поэзия..., 1993, с. 543].

Новая жизнь Асеева связана с ролью «младшего спутника» Маяковского («при Маяковском») и с газетно-публицистическим поприщем. После возвращения в Москву Асеев печатает стихи как в «крамольном» (и вскоре закрытом) «Русском современнике», так и в официальных «Известиях», проявляя талант литературной мимикрии.

Уже две недели спустя после публикации в газете «Правда» (5 декабря 1935 г.) знаменитой неподписанной «установочной» статьи о Маяковском как о «лучшем, талантливом поэте советской эпохи», безразличие к памяти которого равносильно преступлению, Асеев сообщает, что собирается писать роман о Маяковском: «Это будет роман о большом поэте, о большом человеке, выросшем из поколения 1905 года. О человеке, наделенном характерными чертами Маяковского» [Без подписи, 1935, с. 6]. Это – и «звездный час» в советской литературной карьере Асеева, и начало окончательного угасания его поэтического дара. В 1940 г. публикуется поэма «Маяковский начинается», история создания которой подробно описана литературоведами советского времени.

Между Асеевым «Центрифуги» («на перепутье между Хлебниковым и эпигонским символизмом») и Асеевым-лефовцем – четыре полных года активной литературной жизни на Дальнем Востоке. Поэт приехал во Владивосток в конце 1917 г., а уехал из Читы в Москву вместе с поэтом-«биокосмистом» А. Б. Ярославским 28 января 1922 г. [Крусанов, 2003, с. 404, 470]. Современный читатель знает о дальневосточном периоде в жизни и творчестве Асеева прежде всего по написанному поэтом ретроспективно очерку «Октябрь на Дальнем» [Асеев, 1927] и по воспоминаниям современников [Воспоминания..., 1980]. Важные для понимания метаморфозы поэта сочинения, печатавшиеся в труднодоступных изданиях Читы и Владивостока, в своей немалой части остаются непереизданными: в прижизненные и посмертные издания советского времени они не включались, хоть и были отмечены в библиографическом указателе [Русские советские

писатели..., 1978, с. 37, 66, 68]. Сложившаяся за эти годы литературная репутация Асеева продолжает действовать и сегодня: изучение наследия поэта в историко-литературном приближении еще впереди¹.

Переиздание статьи «Мена имен» и двух рассказов («О жалости человеческой» и «Рассказ ни о чем») из редких владивостокских журналов «Великий океан», «Бирюч» и «Творчество» призвано частично заполнить пробел, связанный с творческой лабораторией Асеева в переломное для страны, ее культуры и языка время.

Все три сочинения отличает высокая степень литературной рефлексии. Корни их уходят в футуристическое (и даже символистское) прошлое Асеева, а кроны – в общее советское литературное будущее.

В воспоминаниях о литературном наставнике Асеева периода «Центрифуги» Сергей Боброве М. Л. Гаспаров отмечал: «Мне кажется, есть что-то общее в прозе соседствовавших в “Центрифуге” поэтов: в повестях Боброва, в забытом “Санатории” Асеева, в ждущих издания “Геркулесовых столпах” Аксенова, в ставшей классикой ранней прозе Пастернака. Но что именно – не изучив, не скажу» [Гаспаров, 1993, с. 190–191]. Дальневосточная проза Асеева взошла на этой трудноопределимой «закваске» – поэтике и художественном строе прозы поэтов «Центрифуги».

Хронологическая последовательность в расположении публикуемых сочинений отражает некоторую эволюцию. Рассказ «О жалости человеческой» (1918) стоит в этой троице особняком. Между ним и «Рассказом ни о чем» (1920) гораздо меньше общего, чем между этим глубоко теоретическим рассказом и программной статьей «Мена имен» (1919).

Несмотря на бодрый тон, царящий в дальневосточных письмах Асеева к Боброву², рассказ «О человеческой жалости» не оставляет сомнений, что поэт в поездке пережил травматический, остро болезненный опыт свидетеля и участника быта в стране, охваченной гражданской войной. Смерть, голод, насилие и физическая боль – мотивы, объединяющие три относительно самостоятельных повествования, близких к поэтике модернистского

¹ Из исследований последних лет назовем посвященные участию Асеева в литературно-художественной и театральной жизни Дальнего Востока разделы в диссертации и монографии Е. О. Кирилловой [2007, с. 172–209; 2011, с. 29, 47–53, 63–67]; см. там же библиографию работ советского времени.

² См., например, в письме от 19 декабря 1917 г.: «Во Владивостоке и хорошо и нехорошо. Хорошо, что есть есть. Но нехорошо, что все очень дорого + ветер страшный все время – тайфун. Зато сейчас – бананы, ананасы и мандарины из Японии – продаются китайцами при 30° мороза. Часто хожу в Китайский театр, там очень хорошо – все, к чему стремится Вермель-театр, цирк и пантомима – соединены в нем. Оркестр – на сцене, и на сцене же артисты оправляют свои костюмы; а публика пьет чай из чайников-драконов, ест мандарины, курит папиросы. Китайки очень хорошенькие, а японки ужасны. Я хожу в оленьей шкуре и сапогах» (РГАЛИ. Ф. 2554. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 19 – 19 об.) [Асеев, 1990, с. 385].

Владивосток 19/12
 1917 года. 15/2 11 917. 19

Милый Сергей Павлович!

Давно уже получила твоя письмо
 и по тону его вижу, что тебе не
 до него было. Мне тоже не до
 писем, как и у друзей привыкли
 ● из-за нас первая та, что каждая
 писемка идет 14 дней по шельму
 метр - значит тебе придется
 по крайней мере через месяц
 так что прямо опускаешь
 ручки писать сообщать и спра-
 шивать о чем-нибудь - все
 будет не одновременно, пере-
 ● мещайся и изобретайся.
 ● Но Владивосток и коряво
 и не коряво. Хорошо это тем
 есть. Но не коряво что все
 очень дорого + втык сибиря-
 кий все брешет - тайфун.
 Зато сейчас - бананы, ананасы
 и мандарины из Японии - кро-
 даются китайцами на улицах
 при 30° мороза. Тасило кофры в

Письмо Н. Н. Асеева к С. П. Боброву от 19 декабря 1917 г., Владивосток
 (РГАЛИ. Ф. 2554. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 19)
 N. Aseev's letter to S. P. Bobrov dt. 19 December, 1917, Vladivostok
 (Russian State Archive of Literature and Arts. Fund. 2554. Inv. 1. Doc. 10. p. 19)

примитива (коровье стадо в первой из трех частей рассказа, возможно, восходит к «сказочке» Ф. К. Сологуба «Застрахованный гриб» [1911, с. 88–89]). В отличие от позднейших стилистически изысканных, сложно орга-

низованных и лексически богатых сочинений, лишь сказовые повторы («кружится, кружится, кружится», «трепыхнется-трепыхнется», «заревут-заревут», «пихал-пихал», «шибко-шибко») да мотивные переключки осложняют простоту сжатых рассказов об ужасных событиях в жизни людей и домашней птицы. Налицо то, что позже в советской критике получит названия-ярлыки «биологизация человека» и «биологизация в изображении социальных процессов». Изошренная литературность замысла обеспечивается жесткостью трехчастной композиции – и названием, полемически отсылающем к мотиву преодоления жалости как «человеческого, слишком человеческого» чувства у Ницше и его русских последователей. Структура названия напоминает об оглавлении знаменитой «книги для всех и ни для кого» – «Так говорил Заратустра» («О сострадательных», «О человеческой мудрости», «О трояком зле», «О духе тяжести» и др.). Контрапункт трех повествовательных примитивов, построенных на болезненно-физиологических образах и сюжетах из быта Гражданской войны, обретает в этом контексте характер художественно-философского обобщения. Этнический колорит рассказа позволяет предположить влияние идей Велимира Хлебникова о панславянском (*чех*) и паназиатском (*ки-таец*) единении.

Статья «Мена имен» и «Рассказ ни о чем» представляют собой развернутые рефлексии над кризисными явлениями в сфере языка – языка в собственном смысле (в статье) и «языка художественной прозы» (в рассказе).

Статья относится к той области творчества поэтов начала XX столетия, которую с легкой руки Я. И. Гина [1988] принято называть «поэтической филологией». Подобно статьям Хлебникова, «Ключам Марии» Есенина или «Разговору о Данте» Мандельштама, она, являясь, без сомнения, художественным построением, содержит в себе некоторое научно-лингвистическое зерно и опирается на серьезный филологический фундамент (в тексте встречаются имена В. фон Гумбольдта, Ф. И. Буслаева и А. А. Потебни). Речь идет о судьбе языка в эпоху революционного слома, при этом направление асеевской мысли задано представлениями о будущем языка Велимира Хлебникова – архаиста и новатора в одно и то же время. К Хлебникову же восходит пренебрежительное неприятие слов-однодневок, многочисленных аббревиатур и уродливых форм просторечия – к раннесоветскому «скорословарию» «скороговорок», по слову поэта-будетлянина.

«Мена имен» была первым развернутым теоретическим высказыванием поэта о языке и языкотворчестве. Темы и даже отдельные примеры, частные случаи из этой статьи сопровождали Асеева всю жизнь. Некоторые из примеров он, вероятнее всего, по памяти, воспроизводил в поздних статьях 1950-х гг.: «Жизнь слова» (1951), «Грамотность и культура» (1957), «Зачем и кому нужна поэзия» (1959), «Вино и лимонад» (1959) и др. Так, в «Жизни слова» поэт строит таблицу отглагольного словообразования, очень

похожую на ту, что уже была в «Мене имен». Она объединяет общеупотребительные, исторические и потенциально возможные, гипотетические (что особенно важно для поэзии) формы:

Тонкость слуха, чуткость к звуку, проявляемые в народном творчестве, – поистине удивительны <...>

Мне могут указать на лингвистику, на филологические дисциплины, – но это все не дает представления о жизни слов, об органичности их звуковой ткани, сводя все к правилам и параграфам номенклатуры <...>

Скажем, взять глаголы «бить», «пить», «лить», «жить», «рыть». И проследить, какие похожие слова образуются от них и какие приставки управляют этими глаголами, изменяя их значения.

Вот первый из названных глаголов. Прислушайтесь, как разнообразят его приставки: «прибить», «выбить», «отбить», «набить» и другие. И как сами эти приставки вносят тот или иной оттенок значения: «набитый дурак» – не то, что «побитый дурак». «Набить подушку пером» и «набить мозоли» уже сами по себе рознятся в значении. Как же далеко отходят по смыслу производные от этого глагола. Слова «битва», «бой», «бойкий», «разбитой», все – одной семьи, но как самостоятельно их выразительное лицо. Если сравнить с ними производные от соседствующих глаголов, то еще более удивитесь их единству в противоположностях. Так, глаголы «пить», «лить», «жить», «рыть», поставленные в ряд с глаголом «бить», дают любопытные результаты для сравнения производства слов:

бить – бой, битва, бивень и т. д.
 пить – питва –
 лить – лой – ливень
 жить – зой житва –
 рыть – рытва –

Даже при таком скромном масштабе наблюдения можно уже сделать некоторые знаменательные выводы. От глагола «бить» существительное «бой» не имеет подобного образования в слове «пой». Это естественно, потому что от глагола «петь» – повелительное «пой»! Но в сложных словах осталась эта форма и от глагола «пить»: «водопой»; также от глагола «мыть» не сохранилась самостоятельно «мой» из-за наличия личного местоимения и повелительной формы глагола «мыть», уже использовавших это звукосочетание. И, последовательно, это образование от глагола «мыть» осталось в словах «рукомойник», «портомойка», а от глагола «пить» – в слове «пойло».

Глагол «лить» не имеет в русском формы «лой»; но в братском украинском от «лить» осталось «лой» – слитое сало. «Жить» имело форму «зой» – род, но потеряло ее из-за отмирания значения слова.

Формообразование «битва» не имеет в письменной речи подобных себе форм от приведенных выше глаголов. Но в народном говоре сохранились и «питва», и «житва», и «рытва», как «братва», «жратва», «плотва». Слово «литва» естественно выпало из-за сосуществующего по звучанию имени собственного «Литва». «Бивень» и «ливень» сохранили одинаковые формы, опустив таковые от глаголов «пить», «жить», «рыть», хотя не исключена возможность их возобновления в языке. Почему, например, не сказать:

«На дворе такой ветер – рывень! Всё белье посрывал!» Это в духе языка и не может вызвать возражений. Также можно, мне кажется, «жень-шень» называть по-русски «живень-корень» без ущерба для смысла.

Уже на этом небольшом опыте мы видим, как полезно и продуктивно прислушиваться к звучанию слов, к их взаимному родству, находить их родовые гнезда. А сколько таких возможностей не использовано... [Асеев, 1951, с. 186–187.]

В другой поздней статье («Не такое нынче время», 1959) Асеев интерпретировал образ, давший название журналу, где была напечатана статья «Мена имен». Единственный номер журнала «Бирюч» (где опубликован также цикл стихотворений Асеева «Единственный житель города»), готовившийся осенью 1919 г., вышел в свет 12 марта 1920 г. [Крусанов, 2003, с. 419] под редакцией Сергея Третьякова. Этимологическая тематика статьи Асеева поддерживала древнерусский колорит названия журнала «Бирюч», красочно пояснявшегося на первой странице в редакционном предисловии:

В древней Руси бирючи зычным криком сзывали на площади народ и словесили ему приказы воеводины. Третий красный год справляет народименинник, сумевший за эти три года не только показать остолбенелому миру свое солнечное лицо, но и внутри себя вырастить обильным красным пойлом политое сознание. <...>

Искусство новое, искусство живущее, орущее звонкой глоткой, дивясь на прекрасные движения и дали жизни <...> – это искусство зовет Бирюч на свои страницы! [Без подписи, 1920, с. 3]

На той же странице зов бирюча на удалом празднике революции был изображен Третьяковым и в стихах:

А над улицей речь бирючья
«По приказу, по указу, велению»,
А глаза, что острые крючья...
А кафтан, что твое воскресение.

На толчке бердыши
Сталезвонные,
И бирюч чеканит:
«Народ – пляши!»
А народ глядит,
А глаза-то донные –
Рад ли сердит...
Кто его знает

[Третьяков, 1920, с. 3].

В статье 1959 г., спустя почти сорок лет, Асеев уже не переносит бирючей в современность, как это сделал Третьяков. Редкое слово толкуется в связи с одной песней из сборника Кирши Данилова. В ней поется о гра-

беже и разбое, а цитата сопровождается поэтико-этимологическими экскурсами – в духе «Мены имен»:

В «Древних российских стихотворениях» Кирши Данилова можно услышать замечательные отголоски смысла своего времени, которые не могут сохраниться нигде, кроме как в стихе. Разбойники приходят в дом к богатому крестьянину, требуя выкупа:

А крестьянин-ат божится: «Право денег нет».
 А старуха ратится: «Ни полушечки!»
 А дурак на печи, что клеит, говорит:
 «А братцы Усы, удалы молодцы!
 А и есть де ведь у батюшки денежки...»

Здесь что ни слово, то клад. Во-первых, старуха «ратится». Что это значит? Что слово «ратиться» значило не только воевать, а имело смысл «оспаривать», отрицать, вступать в спор. А дурак – «что клеит, говорит». Не значит ли это, что впервые опубликованные печатные приказы, до тех пор возмещавшиеся жителями через бирючей, поразили воображение народа, придавшего слову «клеить» не только первичный смысл «приклеить» к стенам, к дверям присутствий, но и объяснять, высказывать, не тая, что и делает дурак по своему глупому разуму, откровенничая с разбойниками [Асеев, 1990, с. 35–36].

«Рассказ ни о чем» – предисловие к несостоявшейся поэме с хлебниковским названием «Будетляне». Прозаический текст завершается, однако, стихотворением, которое поэт включил в 1921 г. в одноименный цикл. Тем самым демонстрируется момент перехода прозаической речи в поэтическое измерение – прием, который Асеев опробовал еще в 1914 г. в написанном для детей рассказе «Первый князь Полянский. Из польских летописей», где речь «витязя»-Перуна незаметным образом ритмизуется, переходя к чисто хореическому звучанию (см. об этом: [Устинов, Лошилов, 2018, с. 173]). Рассказ Асеева предвосхищает размышления Мандельштама в статье «Конец романа» (1922) и изданную 1928 г. под псевдонимом *А. Лугин* (и тогда же изъятую из книжного оборота) книгу А. Э. Беленсона «Джиадэ», снабженную подзаголовком: «Роман ни о чем». Перекликается он и с размышлениями Ю. Н. Тынянова о роли «промежутков» в литературном процессе (1924), и с проблематикой литературной теории и практики «серапионовых братьев» – будущих оппонентов Асеева-лефовца. Автор последовательно перебирает основополагающие конструкции прозаического повествования: сюжет и фабула, пространство и время, герой и характер. Перечисление развернуто по модели риторических вопрошаний с частицей «ли», восходящей к стихии гоголевской прозы. Можно указать и более точный «адрес» – размышления героя (и автора) над реестром-помянником Плюшкина:

Извозом ли промышлял и, заведши тройку и рогожную кибитку, отрекся навеки от дому, от родной берлоги, и пошел тащиться с купцами на ярмарку.

На дороге ли ты отдал душу богу, или уходили тебя твои же приятели за какую-нибудь толстую и краснощекую солдатку, или пригляделись лесному бродяге ременные твои рукавицы и тройка приземистых, но крепких коньков, или, может быть, и сам, лежа на полатах, думал, думал, да ни с того, ни с другого заворотил в кабак, а потом прямо в прорубь, и поминай, как звали. Эх, русской народец! не любит умирать своею смертью! А вы что, мои голубчики?» продолжал он, переводя глаза на бумажку, где были помечены беглые души Плюшкина: «вы хоть и в живых еще, а что в вас толку! то же, что и мертвые, и где-то носят вас теперь ваши быстрые ноги? Плохо ли вам было у Плюшкина или, просто, по своей охоте гуляете по лесам да дерете проезжих? По тюрьмам ли сидите или пристали к другим господам и пашете землю? [Гоголь, 1951, с. 137].

Рассказ ни о чем превращается в своего рода синодик – поминовение незыблемых некогда опор прозаического повествования, потерпевших крушение в заново складывающихся, советских условиях. Отметим, что и в статье «Мена имен» встречается парафраз на тему чина поминовения усопших: «...имена их же Ты, Господи, веси».

Тексты воспроизводятся с соблюдением современных орфографической и пунктуационной норм, за исключением стихотворения «Когда качнется шумный поршень...», текст которого публикаторы предпочли оставить неприкосновенным.

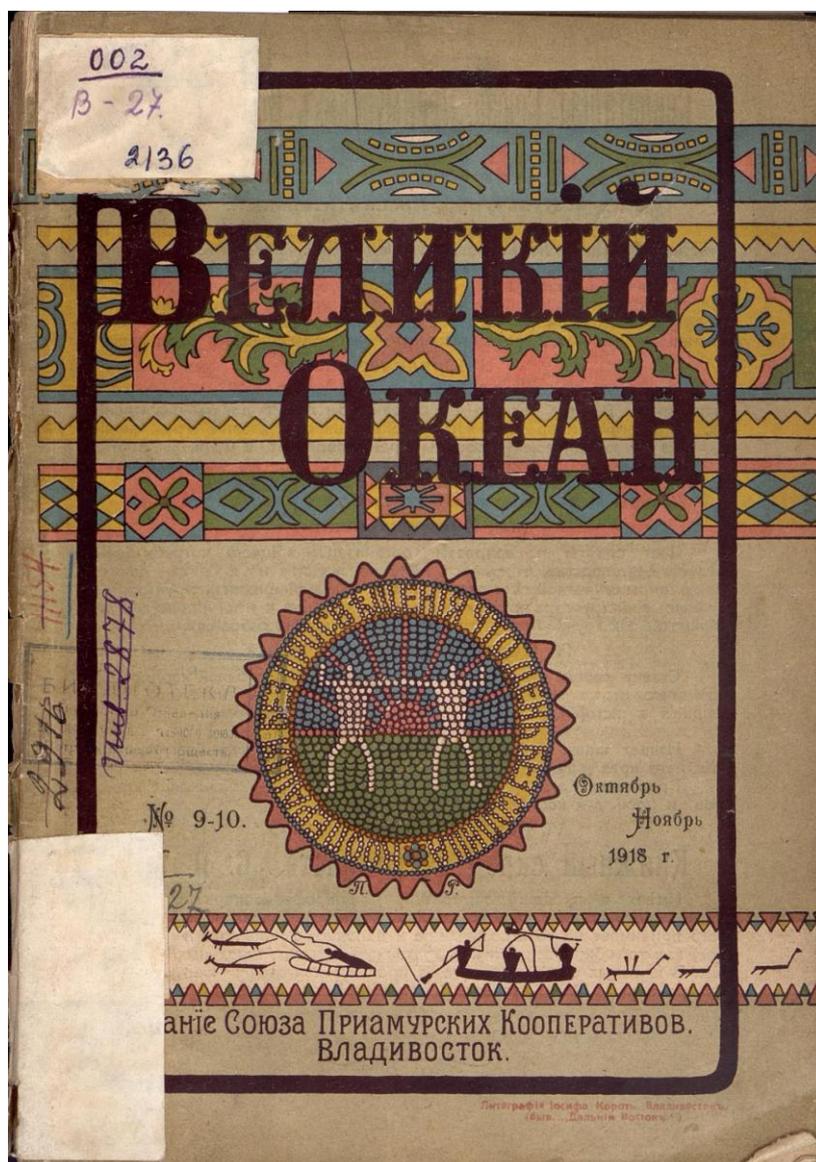
Николай Асеев

О ЖАЛОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

I. Петушинья голова

Когда под праздник, или для гостей, отсекут топором петуху злую голову, покатится она с обрубка с помутившимися глазами, а туловище бросят в пыль от себя подальше, чтобы не закровиться, – вскочит безголовый петух на ноги, начнет колесить без пути – без толку – думать-то безголовому телу уж нечем, а жизнь-то не одна голова ценит. Смеются вокруг, как чудно безголовое тулово кружится, кружится, кружится и падет на бок. И тут еще не вся жизнь кончилась: бьет крыльями в пыль, сгибает и разгибает ноги – все еще встать старается, не верит безголовое тело, что все его вставанья из мягкой теплой пыли – окончились.

Трепыхнется-трепыхнется и затихнет. И понесут петуха, спалят, обшпарят, в суп положат, как из варева обрубки желтым жиром подернутся, выставятся – никто не вспомнит, как они встать с земли старались. А голову на земле оставят лежать: запылится она, в пыль закатается, на дорогу откатится – ее и забудут. Не осталось будто от петуха и памяти – только всего, что на дороге мертвая голова валяется.



Обложка журнала «Великий океан» (Владивосток).
1918. № 9–10 (февраль – ноябрь)
The cover page of “The Great ocean” magazine
(Vladivostok, February – November 1918, № 9–10)

Идут под вечер коровы с поля. Идут, не спеша переваливаясь, свежую отрыгу перемалывая. Идут одна за другой – о чем корове думать, – только хвостами оводов отхлестывают, дойдет первая буренка до того места, где петухова жизнь окончилась, потянет в себя дух кровяной; заревет-заревет не по-всегдашнему, закрутит кольцом хвост, да кругом округ того места, где лежит петухова голова, вприпрыжку, а за ней и другие, ну скажут. Остановятся все головами в кучу, вновь заревут-заревут, как будто других на суд сзывают. И издали скоком тяжелым подбегают к ним отставшие. Долго стоит стадо, долго звучит протяжный коровий рев.

– Мама, чегой-то коровы сбились? – спрашивает светлоголовое дитя у матери.

– Да должно, что на падаль набрели, – отвечает мать. – Возьми-ка хворостину, беги, гони Машку к двору.

Берет хворостину дитя, подходит к коровам нерешительно. Глядит – куда они морды уткнули, землю нюхают: видит, лежит там петухова голова с побелевшим гребнем, с заведенным глазом. Страшно дитяти – никогда не боялось оно коров, и не их ему сейчас страшно.

Страшно ему коровьим страхом, хватает его за сердце коровий крик, слышит он в нем, что взрослым не слышать, – гнев, и возмущение, и жалость, и страх перед пролитой кровью, перед не в срок омертвевшей головой петуховой.

II. Куриная мука

Шел я по базару, а впереди меня трое: китаец, за ним баба, за ней солдат. У китайца и бабы покупки в руках – по домашности, у обоих по паре кур куплено к столу, видно. А солдат с пустыми руками. Несет китаец за лапки за связанные; замлели куры, одна еще головкой ворочает – рот раскрыла, а другая уже глаза закрыла, головой об китайскую ногу бьется, видно, вся кровь голове пришла: гребень красный-красный, кровью налит – чуть не лопнуть хочет-хочет. Перья на них перемяты, и пух выбился, крылья – одна, та, что поживей, – все подбирает, все подбирает, а они падают, как перебитые, а у другой крылья подбирать уж, видно, силы и нет – прямо по земле волочатся. Перетянутые веревкой лапки скрючились, веревка в кожу вьелась от веса, кровь остановилась в пальцах куриных, занемели лапы, должно быть, уж и не чувствуются. А женщина – та за головы своих кур несла. Веревки у ней не было, в другой руке покупок много мелких, так она перехватила между пальцами куриные шеи – так и несет. Лапки по земле волочатся, нет-нет, да и норовят когтем за встречный камешек зацепить – хоть на миг остановить муку-мученскую. Крепко, тяжело, видно, курам приходится.

Иду я сзади, гляжу и думаю, за что им перед смертью такая мука послана, иду, жалею, а не сумею додуматься, чем делу помочь, только одна мысль в голове: – «Зачем их так несть».

«Зачем их так несть?» – Прозвучало вдруг около. Я вздрогнул даже. Неужели это у меня в мозгу так зазвенело. Оглянулся, – а это солдат впереди меня сказал:

«Эх, ходя! Зачем птицу зря казнишь? Бери их на руку, на руку, понял. Вот так, понял? – И солдат со злым лицом поднял кур с земли и уложил их у китайца на согнутой руке. Китаец сразу понял: «Ага, ага, понял», – залепетал он, оскалив зубы – «шанго, моя понимай! шанго!»

«Ну вот так! А то, – солдат показал на небо, – пу хао!»³ «Моя понимай, понимай!» – засверкал опять зубами китаец – и дальше понес кур уже как ему было показано. Видно было, что китаец не от злой души мучил кур. Просто шел себе, думал о своем Чифу⁴, а о курах и не вспомнил.

А женщина, что впереди шла, все это слышала и видела. Но только и ухом не повела – тащила своих кур по-прежнему. Посмотрел я на солдата. Крепко у него лицо сумрачное. Видно было, что и на китайца он нарочно громко кричал, чтобы та поняла и взяла в рассуждение – рассчитывал солдат на это – а теперь ему досадно, что вновь нужно канитель начинать. Однако не отступил и от нее он. «Послушайте, мадам, – суровостью голоса старался он неловкость свою прикрыть, – осмелюсь вас просить, не мучьте птицу. Как теперь казни (наверно, хотел сказать, пытки) – отменены, – зачем же животное зря тревожить!

– А твое какое дело! – Закричала женщина, – и сразу стало понятно, что у ней вся душа давно жизнью выедена – как гнусный орех; свищ – одна видимость человечества осталась. – Какое твое дело, как я кур несу? Твои это куры? Купи себе, да хоть на извозчике их катай!

– Послушайте, вы, мадам, поймите вы меня, не мои они куры, и не ваши, – начал опять солдат, видимо сдерживаясь, – что вы за них деньги заплатили и ихняя жизнь в руках ваших – это я не к тому говорю. Муку-то им делать не надо зря.

– А что мука, – вновь осердилась женщина, – что им мука, когда их все равно под топор?

– Верно, да до топора-то их мучить не к чему. Топор дело минутное; а тут они сколько времени терпеть должны. А за что? Какая вина на них?

Так шел долго солдат и все ее уговаривал. Две улицы мы прошли, а не урезонил он ее. Наконец остановился он ей поперек дороги, поглядел ей в глаза:

³ *Шанго* – хорошо, *пу хао* (*пухао*) – плохо; распространенные в литературе 1920-х гг. написания соответствующих китайских слов.

⁴ Старинное название городского округа в провинции Шаньдунь; ныне – Яньтай.

– Крокодильская ваша душа, – говорит, – может, вашего сына так же где-нибудь за шею поволокут, и его пожалеть некому будет. Далеко наша жизнь-то от куриной ушла?

Сказал он это ей. Гляжу я, думал, еще пуше она осердится от таких слов – нет, вижу, подняла кур с земли, остановилась, переложила покупки на правой руке поудобней, подхватила кур под мышку – понесла, молча так: видно, попал ей солдат своими словами в сердце. Пошла дальше, голову опустила.

А солдат как стал, ноги расставил, дорогу ей загородить хотел, так и остался стоять. Красный, сердитый, от натуги даже запотел весь. Глядит, и, видно, ничего глазами не видит, так ему душу всю перевернуло, на своем хотелось поставить – и поставил. Мала куриная мука, некому на нее и внимания обратить, а вот человек сколько старания положил, даже в лице переменялся.

Глянул я вокруг, далеко я от своего пути свернул, свое большое дело забыл по маленькому куриному делу, – так меня интерес взял, чем это дело кончится. Повернул я назад, дошел до угла – оглянулся – все стоит солдат посередине тротуара – на небо смотрит.

III. Как они помирились

Шел я по-над речкой, в самое пекло. Только что выкупался – не хотелось домой идти. На берегу народу мало – все на работе. Купается только на отмели мальчик маленький, худенький. Лицо бледное, на лбу между глаз уже черточка обозначилась – видно, городское дитя, нездоровое. Купается несмело – воды боится – так, как рачок на суше ворочается. Сел я на бережку, смотрю на него. Глазенки у него большущие, и глядят на мир не по-ребячьему хмуро и печально – видно, непривычны они на небо смотреть, на далекое голубое небо.

Смотрю я на него и не замечаю, как подошел, стал рядом чешский солдат⁵. Загорелый весь, жилистый-суховатый такой мужчина. Кожа на лице потемнела от солнца, а глаза голубые, славянские – и волос русский. Стоит он, тоже смотрит на заморыша, руки за спину заложил, видно, то же, что и я об нем думаю. А мальчонка как взглянул на него – потемнел весь. Вижу, на берег выкарабкался, рубашонку на косточки напяливает, никак в рукав не попадет.

⁵ Советская власть, установившаяся во Владивостоке в декабре 1917 г., была свергнута 29 июня 1918 г. в результате мятежа расположившихся в городе частей Чехословацкого корпуса, подчиненного в то время французскому командованию. Выпуск «Великого океана», где был напечатан рассказ, вышел осенью (октябрь-ноябрь), когда верховная власть в городе принадлежала Временному Сибирскому и Временному Всероссийскому правительству, а вскоре (18 ноября 1918 г.) была передана адмиралу А. В. Колчаку.

Пихал-пихал руку, а мы все на него смотрим – видно, раздосадовался, да вдруг и говорит чеху.

– Что вы, дядя-чех, на меня так смотрите? Вы моего папу убили – может, и меня хотите убить.

Так это у него наполовину по-детски сказалось – «дядя-чех», а наполовину по-взрослому, горько и горячо так.

Взглянул я на чеха – затуманились у него голубые глаза – слышу, отвечает он печально и разумно – как будто давно этого разговора ждал.

– Милый ты мой мальчик, – говорит, – милый ты мой мальчик, может, это правда, что я самый и есть тот, кто твоего отца убил, только не виновен я в смерти его.

Остановился мальчик об одном рукаве – ждет, что еще тот скажет.

А чех говорит:

– Невиновен я в его смерти потому, что когда бы не я его убил – то, наверное, он бы меня убил, потому что зашлись наши жизни на одной точке, и свела их судьба одна, поставила одна против другой, и сказала судьба – «одному из вас жить – другому умирать». А как дальше вышло, об том не человеку уму судить. Но свернуть с того пути никому нельзя. Поэтому не имей ты злобы против меня, как я не имел ее против твоего отца, а скрепись да подумай, как нам вместе судьбу изменить.

Посмотрел я на чеха, а у того из голубых глаз славянских – слезы одна за другой, светлые, крупные текут, не останавливаясь.

Посмотрел на него и мальчик. Видно было, что не может он умишком своим с сердцем совладеть, начал другой рукав рубашки искать, поднял руки над головой, а на левом боку видно: как молоток, бьется сердце, – шибко-шибко колотится. Надел рубашку, надел портки, опоясался; гляжу: посветлели у него глазенки и личико прояснило – будто меньше стал.

Подошел к чеху вплотную, опустив глаза. Подошел, поднял голову, улыбнулся так жалостно. Прощай, говорит, дядя-чех!

Подхватил его чех с земли сильными руками, начал целовать и в голову, и в плечи, и в глаза, а у самого всё слезы бегут, не останавливаются.

Гляжу, и мальчик голову ему на плечо прислонил, плечики вздрагивают от рыданий, все тело маленькое сотрясается. Повернулся чех и пошел с ним на руках к городу. Твердо так пошел, не останавливаясь. А я им вслед глядел, и чувствовал, как колотится и мое сердце.

Источник: *Ник. Асеев. О жалости человеческой // Великий океан: Издание Союза Приамурских кооперативов (Владивосток). 1918. № 9–10 (окт. – нояб.). С. 16–20.*

МЕНА ИМЕН

Живой организм языка страны изменяется по такой схеме, законы которой можно установить путем научных исследований той или иной части страны в филологическом смысле.

Тем не менее, такие научные обследования, при всей своей значительности и ценности, всегда обречены на некоторое опоздание, зависящее от самого свойства всякой научной работы – проистекать в условиях известного статического равновесия исследуемых величин. Короче сказать, наука всегда может лишь констатировать закрепленный факт того или иного говора, наречия, аргю. Она не может участвовать в самом процессе их создания, не рискуя погрешить против планомерной систематизации действительности, а не случайных данных, способствовавших этому созиданию. И обыкновенно лишь много позже какой-нибудь талантливый лингвист, подчас ценою усилий всей своей жизни, строит теоретическое обоснование того или иного диалекта. Это похоже на катящуюся лаву вулкана, сжигающую все шумы леса, до которой не может дотронуться нога будущего ботаника, коему суждено описать флору, мыслимую на поверхности этой уничтожающей лавы в еще более буйной роскоши. Так и особенности языка, его морфологические изменения, спаленные расплавленными массами, изрыгнутыми из груди народа, его родившего, – обычно бывают видны лишь спустя много времени после его извержения. Шумы леса часто зависят от формы листьев, и человек, заблудившийся в лесу, если он близок к природе, – может по особенностям звучания этих шумов узнать, что пророчат они ему – близящуюся ли бурю или сулящий спасение рассвет.

В русской филологии встречается очень мало имен действительно знавших и любивших свой язык настолько, чтобы предугадать по его изменениям, по шуму его листьев ту сокрушающую бурю, которая вскоре изменит весь обычный лексикон широких масс до неузнаваемости. К числу таких необычайно проницательных и внимательных к русской речи исследователей следует прежде всего отнести Ф. Буслаева и Потебню – кажется, единственных, сумевших предсказать скорое развитие языка до небывалых по словарному богатству размеров и подготавливавших к этому потоку новых понятий соответствующие синтаксические возможности. Но эти одинокие попытки, при всей их неопределимой важности, не могли, конечно, оказаться в достаточной мере всеобъемлющими уже по одному тому, что предметом своих изысканий брали лишь возможности своего времени. Так, корневые формы, установленные Буслаевым, лишь намечали возможности словесных метафор, не будучи обусловлены определенным звуковым составом флексий и суффиксов, и до сих пор составляющих терра инкогнита всех официальных руководств и пособий. В свое время



Обложка журнала «Бирюч» (Владивосток). 1920 (март)
 The cover page of “Bellow” magazine (Vladivostok, March 1920)

автором этих строк были указаны совершенно самобытные формы некоторых отглагольных речений, а также подчеркнут характер таких, например,

приставок, как **СУ** (напр., в словах **супруг, суглинок, сумерки**)⁶, **ПА** (**пасынок, падчерица, паволок, пазуха**)⁷ и в особенности **Я** – атрофированная форма вспомогательного глагола **ЯТИ** – как в слове **объятые** (примеры – **яма, ямки, якорь, ястреб, ящер, ящур**)⁸. Приставки эти, и многие другие, не будучи зарегистрированы научным путем, остались

⁶ Имеется в виду основанная (под влиянием Хлебникова) на «поэтической филологии» лингвистическая фантастика в статье «Ухват языка. Приставки» (1916): «**Су**. Значение: неполное бытие, состояние, связанное как материально или образно со словом, с которым стоит; так:

Су-мрак = неполный мрак; – су-мерки не полный мрак; – Су-пруг = одно из лиц цельно мыслимой пары; – Су-кровица = сопровождающая кровоизлияние; – Су-глинок = не единообразно глинистая почва; – Су-мный = как бы подвергшийся тяжелому сомнению; – Су-тужный = как бы подвергшийся туче = печали; – Су-к = разветвление ветви, соответственное корню; – Су-гроб = погребающее под собою, напоминающее о гробе.

До сих пор полагалась как видоизмененное **со**. Однако это неверно; так, из сопоставления двух разного значения слов – *сумный* и *сомневающийся*, видна степень влияния этой приставки на образование самостоятельного словообразца; в слове *сомневающийся* смысловое значение всецело лежит и объясняется глаголом *мысль*, между тем как *сумный* утеряло эту наглядность, и тяжесть значения распределена поровну между приставкой и глаголом, причем первостепенное значение образности отошло к первой» [Асеев, 1917, с. 5].

⁷ Ср.: «**Па**. Значение: бывший объем извне сжатого в образе понятия, закл.<юченного> в слове, к которому **па** приставлено.

Это опять-таки не видоизмененное **по**, так как замены одной приставки другою быть не может; **по**, означая действие, протекающее во времени, всегда и подчинено этому времени. Так, в словах *полуда, погонщик, порыв, последователь, послух, поклон* все время главенствует глагольное речение и самостоятельность значений этих слов сомнительна. Иначе говоря, приставка здесь присоединена механически и не имеет самостоятельного значения, она слышна здесь и не привилась к понятию, ей облакаемому. Между тем в словах:

пазуха = место, занимаемое приподнятой дыханием грудью, палуба = покрытая лубом часть корабля, пастырь = пастух душ, священник (нем. пастор?), пасынок = заменяющий сына, падчерица = дочь, паморок = глубина сознания.

Также *помнить* и *память*, где для одного понятия понадобились разные оттенки при словопроизводстве, – значение, при котором стоит приставка, подчинено ей до полного обновления его понятия» [Асеев, 1917, с. 5]. Ср. также опубликованное в 1914 г. стихотворение В. Хлебникова «Па-люди» (1912) и хлебниковское толкование: «*Па* – лже, внешне, якобы. *Па-русы* – не русы. *Паука* – лжезнание. *Пакус* – ложный вкус» [Хлебников, 2000, с. 258, 491].

⁸ Ср.: «**Я**. Значение: *объема*; б.<ыть> м.<ожет,> остаток вспомогательного глагола “яти”, сохранявшегося в производных *веять, поять, лиять, рьять, сеять*; наконец: *брать, звать, спать* и т. д.

Слова: *ящик, яма* = обнимающие; *ямки* = ухват; *якорь* = цепляющийся за корье; *ястреб* = беруший падаль = стребу; *язва* = раскрывающая зев; *ялая, яловые* = пустая внутри; *ядро* = внутренности шара» [Асеев, 1917, с. 5].

слепами точками во взоре, оглядывающем русскую речь, и в целом составляли довольно значительный пробел в науке о языке.

Но еще более ощутительный пробел существовал в невозможности путем точного исследования установить те упущенные из виду формы речений, которые, не будучи использованы языком в силу их практической бесполезности в пределах данного времени, представляли громадные возможности в смысле их применения в будущем. В пределах фрагментарных набросков мной была не раз установлена⁹ необходимость составления таблиц хотя бы простейших (односложных) глаголов с производными от них. Не приводя их полностью за громоздкостью материала, укажу хотя бы на наиболее характерные. Возьмем глаголы «бить», «вить», «рыть», «мыть», «пить». Это уже из исследованных в вышеуказанных таблицах. Покажем на примере гнезда слов, выпавших, очевидно, из-за неприменяемости понятий, приложимых к ним.

бить	бой	бивень	битье	битва	бич	боец	било
вить			витье				вило
рыть			рытье			рыец	рыло
мыть	мой		мытье				мыло
ныть	ной		нытье	нытва			
лить	лей	ливень	литье	литва			

Уже в этой далеко не полной таблице видны эти незаполненные гнезда слов с выпавшими в силу каких-то причин понятиями. Что от глагола «вить» нет понятия «вой», это понятно из того, что аналогичное существительное от гл.<агола> «выть», очевидно, вытеснило его. Но почему нет понятий «вивень», «рывень» и т. д.? Очевидно, просто они выпущены из языка в силу отсутствия их субстанций. Но субстанция слова как фонетического субъекта уже равнозначна в своем зачаточном виде объекту понятия, если принять во внимание положение Гумбольдта о том, что «язык рождает смыслы». А значит, и отсутствие этих слов можно объяснить только небрежностью исследователей, не услышавших этих несомненно существующих понятий, пропустивших их в своих многотомных словарях. С другой стороны, некоторые образования, не имея самостоятельного, отдаленного существования, продолжают, однако, свое бытие в сожительстве с другими, опираясь на них и придавая своеобразный, самобытный смысл сообразуемому ими понятию. Здесь имеет место чрезвычайно характерный для нашего времени, но применяемый им совершенно меха-

⁹ «Временник» № 1, М., 1914 г.: предисловие к книге «Лирень» и мелкие газетные статьи. <Примеч. автора>. Обе отсылки неточны; имеются в виду публикации: [Асеев, 1917, с. 5], и статья Асеева «Несколько слов о “Леторее”», подписанная: Лирень [Асеев, Петников, 1915, с. 3–4] <Е. К., И. Л.>.

нически симбиоз слов, не выходящий, однако, за пределы каких-то внутренних, неисследованных еще законов. Так, во второй главе таблицы за глаголом «мыть» стоит сущ.<ествительное> «мой», которое, однако, не употребляется в речи, может быть, в силу существующего уже равнозвучающего местоимения. И, однако, в словах «портомой», «рукомойник» мы видим это существительное, мирно укrywшееся под общую крышу нового понятия с более сильными и выжившими в отдельности существительными «порты» и «рука».

Слово «лой» от глагола «лить» имеет и до сих пор, хотя и не повсеместное, значение: «лоем» на юге России называют «слитое», расплавленное сало или жир.

Далее, в третьей графе, кроме существительных «бивень» и «ливень», не встречается ни одного, образованного надставкой «ень», хотя прекрасное слово «вивень», сокращенное почему-то до «вьюн», и существует на западе России, как вспомогательное и редко встречающееся название палки, на которой сучат веревки из пакли. В следующей графе – все отглагольные существительные налицо. Очевидно, немалое значение имела тут легкость образования, между тем как предыдущая, более сложная и древняя форма словотворчества отброшена именно в силу своей усложненности. Так же и в следующем ряду, где, кроме «битвы», приведенные нами образования спорны. Первое из них очень редко встречается в народном говоре, служа синонимом опять-таки более легкого образования «питье», второе же озаряет внезапным и новым светом филологическое строение названия белой страны¹⁰, но так как здесь возможны возражения, мы не останавливаемся на нем, чтобы не уклоняться от темы. В следующей графе мы встречаем одно только образование «бич»: за ним – пустые гнезда не созревших или, наоборот, отмерших слов, из которых мы остановились бы лишь на одном из-за его убедительной доказательности весьма характерного свойства языка. Слово это несуществующее в обиходной речи «пичь» от глагола «пить». Его следовало бы иметь в виду при объяснении чрезвычайно распространенного варваризма «спитч» – речи, произносимой обыкновенно при поднятом полном напитка бокале. Не вдаваясь в подробности, следует заметить, что усвоение его в разговорном языке объясняется именно чрезвычайной похожестью на правильное туземное творчество понятий. Из этого следует, что в языке вообще прививаются наиболее крепко только те варваризмы, которые наиболее удачно мимикрируют под корневой и фонетический колорит языка.

В следующей графе – «боец» не имеет аналогичных созвучий, кроме слова «роец», существующего уже вышеуказанным способом синтеза, например, в слове «землероец».

¹⁰ Литва. <Примеч. автора>

Восьмая и последняя графа особенно интересна странностью звучания образуемых ею слов. Даже слово «рыло» здесь звучит как будто незнакомое, стоя в ряду столь же обычных слов, как «било», «вило(ы)» и т. п. отмирающих понятий.

Итак, на один небольшой, наскоро набросанный кусочек исследования безмерной карты русского языка нам пришлось потратить много усилий. И на этом крохотном кусочке мы нашли немало интересного для любящего и ценящего язык. Что же сказать о всей грандиозной области языка, продолжающей оставаться безо всяких руководящих указаний.

Целью настоящей статьи было не столько филологическое исследование, сколько желание представить все эту неизвестную страну русской речи, в которой за последнее время проникли бесцеремонные незнакомцы, выдающие себя за «настоящие русские слова» – в виде всевозможных «Земгоров», «Центрсоюзов», «Уполснабпродов», «Продопутей», «Центраваков», «Облдумов» и проч.¹¹, имена их же Ты, Господи, веси.

Эти уроды пришли сразу, толпами на смену подготовившим им хорошую почву обывательских «предварилок», «потребиловок», «цеков», «кинематошек»¹² и прочих безнадежно-бездарных прелестей русского интеллигентского языка.

Характерно, что за время революции ни одного слова, мало-мальски правильно образованного, отвечающего потребностям изменившихся условий жизни интеллигенции, пущено в обращение не было. Все вышеприведенные похожи на бесконечное серое множество других, вспоминать которые было бы столь же тщетно, как и номера всех книг, читанных когда-то в библиотеках. Неуклюжесть и полное творческое бессилие сказываются в этом безобразном жаргоне, напоминающем унылый треск пишущей машинки. Арго это, конечно, не укрепившись ни в умах, ни в сердцах народных масс, выветрится из них с быстротою ветра, вышелушив вместе с собою и те скудные крохи идеологического содержания, которым безуспешно, очевидно, пытались обсеменить восприимчивую и плодоносную почву широких народных масс.

¹¹ Перечислены сокращенные или условные названия организаций и должностей в 1914–1920 гг.: *Земгор* – Главный по снабжению армии комитет Всероссийских земского и городского союзов (1915–1919); *Центросоюз* – Центральный союз потребительских обществ; *Уполснабпрод* – уполномоченный по снабжению и продовольствию; *Продопуть* (*Продпуть*) – Всероссийский совет снабжения железнодорожников; *Цетравак* (*Центрэвак*) – Центральная комиссия по эвакуации населения; *Облдума* – Временная Сибирская областная дума.

¹² Употреблявшиеся в просторечии в 1920-х гг. слова; происхождение некоторых связано с аббревиацией: *предварилка* – место предварительного заключения; *потребилочка* – магазин потребительской кооперации; *цека* – центральный комитет; *кинематошка* – кинематограф.

Но кроме отдельных понятий, в самой структуре, в синтаксических формах речи – интеллигентский класс, казалось бы, вполне подготовленный предыдущими годами самоуглубления и изучения западных идеологических построений – должен был быть и наиболее гибким, и благодарным проводником их, усовершенствованным объяснительным аппаратом, сохранившим дееспособность в области родного языка и реформирующим мысль сообразно новым принципам мышлевых достижений.

Так ли это на самом деле? Нет надобности отвечать на это. Стоит привести на память лишь ту общую ненависть к «болтовне», какую сейчас питает почти вся страна и которую сумели внушить все те же «разъяснители» и «толкователи» идей, исключительно благодаря своим неумелым, бесталанным, однообразным до одурения способам выражений, построения фразы, оборотам ее. «Малокровие речи», бесцветность ее, слезливость в трудные минуты, деланный риторический пафос не обманули именно в приемах, так как искренность желаний была вне сомнения – народа, и внушили ему чувства глубокого отвращения, чуть ли не гадливости к «говорильным машинам», путавшимся в иностранных выражениях, в чужеземных оборотах, не умевших выразить просто и ярко – якобы точно понимаемое ими – и на словах, и на бумаге!

Ведь достаточно только прислушаться к говору нашей «культурнейшей части» общества, чтобы назойливо полезло в уши сакраментальное «постольку – поскольку», «как таковой» и другие казенно-прописные, застывшие в бессильной дремоте мыслей прослойки перхоти на лысеющей «головке» нашего общества.

А между тем новая литература давно уже и тщетно твердила о настоятельной необходимости словотворчества, долженствующего проторить русло катящейся огненной лавине возгоравшегося народного молчания. Но над этим глумились, как над бредом, из тех же газет, жующих теперь оторванную жвачку дореволюционных «условий» и «обстоятельств» наши на все готовые, ни на что не способные «культурные силы»!

Впрочем, все это не так страшно. Все это свидетельствует лишь об одной старой, но справедливой истине: неблагоприятно вливать старое вино в новые меха. И эти изношенные старые меха русской общественности, изо всех сил делавшие вид, что они обновились, конечно, не содержат нового вина мирового мышления, и, прорвавшись, покажут свою полную непригодность к дальнейшему употреблению.

А новое поколение, уже опьяненное этим напитком, от которого «пьянеет разум», сумеет, зная и любя язык, создать и новые его формы, которым никогда не научиться людям прошлого дня.

Источник: *Ник. Асеев. Мена имен // Бирюч: Журнал искусства и жизни (Владивосток). 1920. Март. С. 20–22.*

РАССКАЗ НИ О ЧЕМ
(Вступление к поэме «Будетляне») ¹³

Вступление написано автором в тяжелые сумерки сибирской и дальневосточной жизни. Через будни и томление колчаковщины, мятущаяся мысль поэта прозревала будущие абрисы и яркие просветы в отдаленное мучительно нащупывала в неизбывной тоске.

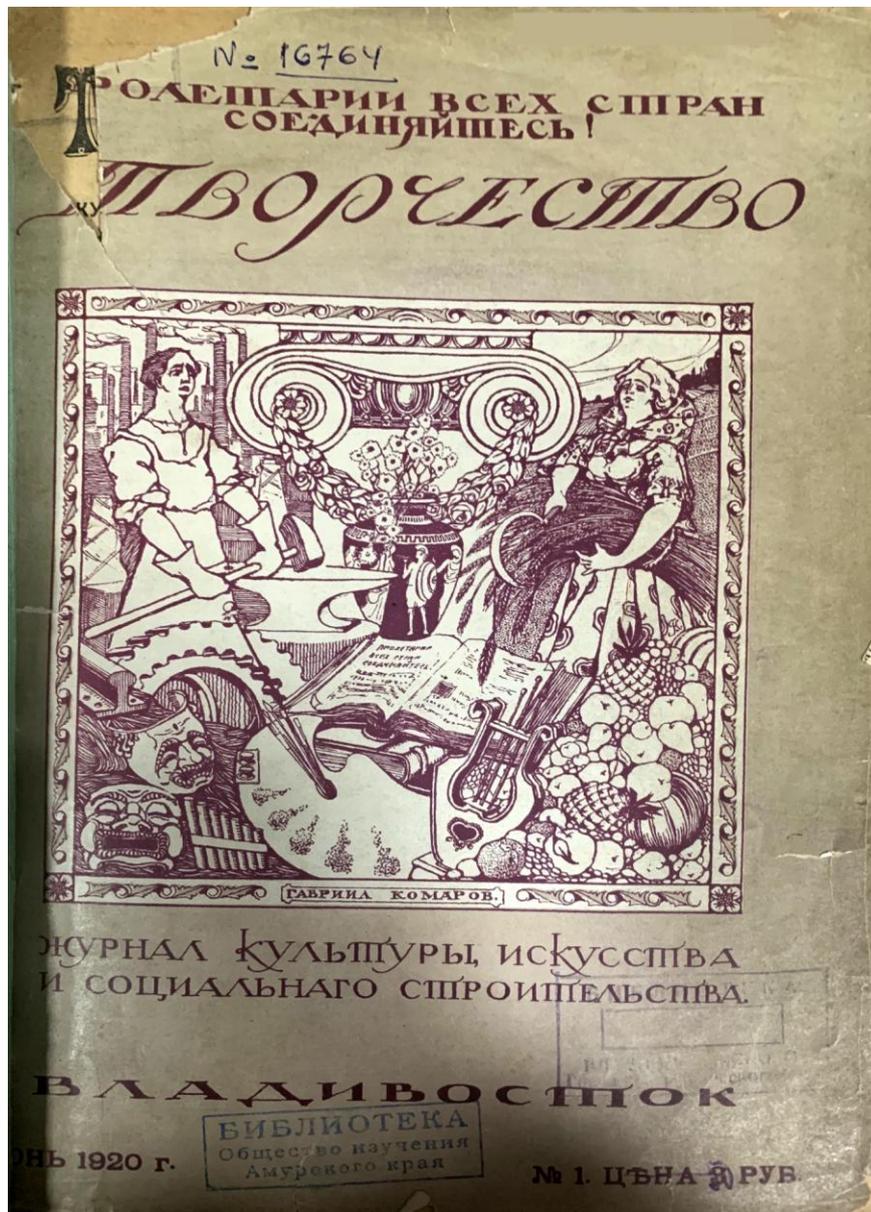
Ред.

Вы любите ли смотреть скачки? Лошади расплавляются в воздухе, напоминая собою, своими растянутыми телами, действительно, летящих птиц. Они вытягиваются в одну жилу, чтобы ловчее, удобней мимолетнее прорезать воздух, стараются слиться с той линией, которая, описывая круг, замыкается началом и концом скачки. Мне не важно, какая из них придет первой. Это уж зависит от искусства ездока, от ухода за лошадью и других случайностей. Но самый полет их, перевоплощение в четырехногих птиц меня увлекают. Точно смотришь фантазмагорию мироздания, где еще не определилось, во что же выльется эта неустановившаяся, кипящая, стремящаяся к своей цели форма.

Еще меня в последнее время интригует море. Не само оно в его величине, крупной, выгнутой могущественной спине, зелени, сини, теми – нет, такое величественное, умное и страшное **шарлаховое** ¹⁴ море занимало меня раньше, в дни юности; тогда оно мне казалось великим открытием – молчаливою правдой, синим доводом бесконечности. А теперь, т. е. в последнее время, оно как-то приблизилось ко мне, приручилось, «разложилось» в моем сознании, и я, глядя на голубых медуз, безумно равнодушных к близкой гибели, лениво перекачивающихся на невысоких погожих волнах, глядя на прозрачных, жадно молчащих креветок у береговой пенистой якости; на крошечного рачка-отшельника, таскающего за собой свое жилище, – вижу иное море, море, живущее каждой своей каплей отдельно, розно, и, вместе с тем, странно слитно, великолепно слитно – блеском своих крутых, переливающихся силой, плеч.

¹³ Название «Будетляне» носит снабженная посвящением «Оксане Синяковой» вторая часть сборника «Бомба»: [Асеев, 1921, с. 25–60]. Первая часть называлась «Сегодня».

¹⁴ Редкое в языке XX столетия слово *шарлах* происходит от немецкого *Scharlach* и означает ярко-красный цвет, краску-багрянец. Оно встречается в стихотворении Асеева «Гремль. Первый выпал» из сборника «Зор» («Чертов кат колокол, / кинь кованым взмахом / бой, бой, боль / знамен шарлахом» [Асеев, 1914, с. 8]), а также в былинах об Илье Муромце в записи П. В. Киреевского.



Обложка журнала «Творчество» (Владивосток). 1920, № 1 (июнь)
The coverage of "Creativity" magazine (Vladivostok, June 1920, № 1)

А еще приводит меня в опасно-тревожное настроение вид стареньких рассыпающихся кирпичей. Знаете, есть такие с обвалившимися или отбитыми углами, отсыревшие и разлагающиеся. Они теряют песчинку за песчинкой. И форма их, четырехугольная, призывающая к твердости, определенности и неуступчивости, – изменяется, умягчается. Они издали похожи то на валик для дивана, то на серенькую птицу у берега, то на гриб. Такой камень не годится, если его взять в руку темной ночью для защиты. Он ненадежен. Рука ему не верит. Кажется, что он рассыплется при взмахе.

И это все – что переходит от формы к форме. И лошадь на скаку, и жизнь маленьких морских моролевен¹⁵, и дряхлеющий, превращающийся в прибрежный песок камень – все они волнуют меня, русского, ибо я, русский, так же близко чувствую вокруг себя присутствие чуждой стихии, как медуза, выброшенная на берег, тысячерукие прикосновения воздуха!

Так вот: «ни о чем».

Читатель, должно быть, ждал от заглавия маленького кокетничающего реверанса, а после – спокойного, вдумчивого, занимательного рассказа с фабулой, с перипетиями, героями и увлекательным концом.

Но разве у русского может быть теперь фабула? Разве может быть последовательность изложения, интригующая завязка, неожиданный исход?

Где же назвать место действия? Кого избрать в герои? На чем построить интригу?

Москва ли – перекрашенная, как краденая лошадь, в неузнаваемый буйно-рыжий, незнакомый глазам цвет? Это та ли, раздобревшая на малиновом звоне, на оладьях, медах и просфорах стародавняя неряшливая тетка? Вон она, с пылающим румянцем старческого гнева лицом, простоволосая, в сбившемся очипке¹⁶ – горланит, и плачет, и воет хриплым воем прибитой вилами к земле волчицы.

Петроград ли, «пресветлый», насквозь просквозивший, словно осенний лес, равными аллеями своих перекрестков, чинный и ясный, как серебряная вычищенная пуговица? Но ржавые пятна крови и времени затлили его приличный северный блеск!

Провинция ли, притулившаяся к земле низенькими лобишками одноэтажных домиков с длинным, ползающим по узким, постным губам языком сплетни, языком судейских невымерших ярыжек, языком мелкого вторичного базара – великим, щедрым и страшным языком русским? Но и провинция – прибитой на дороге дождем пылью легла и не подымается, запряталась в углы, в кульки, в сушки, в именинные чашки, лежит-дрожит, не шелохнется под пинками огромных, вымещающих вековую обиду выступков и каблуков.

¹⁵ *Мороль, моролева и моролевич* – неологизмы Велимира Хлебникова, встречающиеся в ранней редакции стихотворения «Пен пан» (1915) и в стихотворении «Сияющая вольза...» (<1917>).

¹⁶ *Очипок* – украинский женский головной убор, чепец.

Или села и хутора – издали надрывавшие сердце дымками труб в морозный вечер, огнями крошечных окон в осеннюю ночь, отголосками властительных песен в жаркое, яркое июльское время?

Но и они – села и хутора – окопались теперь настоящими окопами, отгородились – друг от друга даже – колючей изгородью всеобщего недоверия, сломали с колодцев высоко указательными перстами раньше вперявшиеся в небо журавли с бадьями, и рано тушат они <sic>¹⁷, и низко глушат голоса, нахохлившись враждебными стрехами хат.

А кого же в герои? Серого ли лицемера, прикидывавшегося жуликом, ерником, всесветным надувалой, юродивым шутком, и вставшего вдруг с иконы из красного угла перед миром живым укором, слепящим глаза примером для других народов, поприличнее, да побойчее, да почернее.

Но он не хочет в герои. Он норовит в чашу, в глубь, в леса, в темный кут, с топором за пояс, с вилами за плечами, а то и с прилипшей, привыкшей к руке винтовкой – на древний посвист соловья, на страшный голос Пугача, на яркий облик бархатного Стенькина кафтана. А дома – вернется – опять сидит себе, серый, бородатый – лишь глаза из-под древней боярской шапки мерцают: угрюмые, упрямые, грустные, бодрые, серые волчьих глаза!

Или, может, герой-то будет – этот, который «на все горазд», застегнутый, умытый, и упитанный – не гляди, что «пострадал», – многоветвистый «дуб» русских лесов, правда, дуплистый сильно, но все же несокрушимый под бурями разных «разочарований» и новых очарований, сладко и дремотно шелестящий осенними листьями высохших слов, сладко и дремотно шелестящий листьями «своих» газет, недавно потрепанный шумным ураганом, но все же сохранивший невинную зелень лъстивой лъствы, – дуб духа русского, «великий страстотерпец», «соль земли русской» – русский интеллигент?

Но и он скромно ушел от постаментов «героя» в тихую тень протестующих лавочек, правда, сборных, общественных, нужных и полезных лавочек, торгующих совсем дешевыми селедками в великую засуху, в пору народной жажды.

Кто же еще? Виц-мундирник¹⁸, поп, просто «гражданин»? Но все они не годятся или, вернее, уже раньше «годились» и выносились, выветрились так, что и обличья-то от них не осталось, – в руку возьми и, кажется, рассыплется при первом взмахе.

Кто же еще? Никого. Пустота. Темь, где маячат туманные абрисы каких-то иных форм, иных жизней. Линия, к которой хочется прильнуть, распластаться, приинкнуть, чтобы, превратившись в странную птицу, пе-

¹⁷ Так напечатано в журнале; возможно, следует читать: «тушат огни».

¹⁸ Виц-мундирниками называли гражданских чиновников.

ремахнуть, перелететь этот круг, заколдованный круг теперешнего, данного, рассыпающегося бытия.

Ведь не медузой же, синей, гриботелой, жить, расти, пухнуть, чтобы вынесло мудрое море и швырнуло скользкую пададь подальше от свежей, набегающей на берег волны?

Итак – вот рассказ «ни о чем», который, в силу необходимости, принужден вести летописец наших дней, если он желает сохранить беспристрастность, меру и время в безыскусных строках своей повести. О герое «ни о ком», о том, кто не был «ником» еще в этой жизни, жизни прошлых дней, жизни отгорающей, отмирающей, уходящей за край небосклона. Какое же имя придумать ему? И надо ли придумывать? Не прозвучало ли оно уже на веки вечные, неуязвимое, ускользающее от мешкотной погони сегодняшнего дня, несущееся впереди других гигантским аллюром, влача на себе своего искусного всадника «Время»?

Я смотрю на прозрачный, удлинённый осенним воздухом глаз залива, точно обведенный бессонным кругом синевы и усталости, на тлеющий клен в отвороте берега, на похудающий, осунувшийся и болезненно-близкий облик октябрьского мира, и мне вся земля кажется записной книжкой, куда вписываются только лучшие строки человечества. Остальное – поправки, поправки, зачеркнутое черной чертой.

Но лучшие строки – они горят букетами желтеющих, факелами взметенных к небу дерев, профилем лукаво-блужающего по небу облака, едкой щелочью иссиня-напряженного небесного лица, задрогшей кожей четких звуков и красок. Горят и переливаются, как драгоценное вино, пьянящее разум вселенной. Я смотрю, и в уме, как по небу облака, бредут строки этого, нового человечества:

Когда качнется шумный поршень
И небеса поголубеют,
И пронесется тяжело коршун
Над голубиной колыбелью, –
Какой немеющей ладонью
Сберут небесные одонья?
Владения осеннего тепла
Где смерти сон – приветливый шабер,
И, если ты – осенний лист, не плачь:
Опрятен дней расчесанный пробор!
И гребешок из солнечных зубцов,
Распутывая кольца облаков,
Откроет вдруг холодное лицо,
И это – даль уснула глубоко.
И ветра в свежающем свисте
Осыплются звездные листья,

И кисти сияющих ягод
На пальцы берущие лягут!¹⁹

.....
Я смотрю. Я жду. Сквозь меня тихо проплывает Время.

1919 г. Владивосток

Источник: *Ник. Асеев*. Рассказ ни о чем (Вступление к поэме «Будетляне») // Творчество: Журнал культуры, искусства и социального строительства (Владивосток). 1920. № 1, июнь. С. 7–9.

Список литературы

- Асеев Н. Н.* Зор. М.: Лирень, 1914. 16 с. [Литогр. печ.].
- Асеев Н., Петников Г.* Леторей: Книга стихов. М.: Книгоиздательство «Лирень», 1915. 32 с.
- Асеев Н.* Ухват языка. Приставки // *Временник*. М.: [Без изд.] [Типо-литография Товарищества И. Н. Кушнерев и К^о], 1917. С. 5.
- Асеев Н. Н.* Бомба: Стихи. Владивосток: Изд-во «Дальневосточная трибуна», 1921. 62 с.
- Асеев Н. Н.* Октябрь на Дальнем // *Новый Леф*. 1927. № 8–9. С. 38–49.
- Асеев Н. Н.* Жизнь слова // *Новый мир*. 1951. № 4. С. 176–192.
- Асеев Н. Н.* Родословная поэзии: Статьи, воспоминания, письма / Сост. А. М. Крюкова, С. С. Лесневский; вступ. ст. Л. А. Озерова; коммент. А. М. Крюковой. М.: Сов. писатель, 1990. 557 с.
- [*Без подписи*] От редакции // *Бирюч*. Владивосток: Общедоступная книга. 1920. С. 3.
- [*Без подписи*] Роман о Маяковском // *Литературная газета*. 1935. № 70 (561), 20 дек. С. 6.
- Воспоминания о Николае Асееве / Сост. К. М. Асеева, О. Г. Петровская. М.: Сов. писатель, 1980. 303 с.
- Гаспаров М. Л.* Воспоминания о С. П. Боброве // *Блоковский сборник XII*. Тарту: ИЦ-Гарант, 1993. С. 179–195.
- Гаспаров М. Л.* Семен Кирсанов, знаменосец советского формализма // *Кирсанов С. И. Стихотворения и поэмы*. СПб.: Академ. проект, 2006. С. 5–18. (Новая библиотека поэта)
- Гин Я. И.* О «поэтической филологии» // *Литературный процесс и проблемы литературной культуры: Материалы для обсуждения*. Таллин: Таллин. пед. ин-т им. Э. Вильде, 1988. С. 20–22.
- Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: [В 14 т.]. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. 6: Мертвые души. Том первый. 923 с.

¹⁹ Стихотворение было включено в выпущенный во Владивостоке сборник: [Асеев, 1921, с. 30]. В книжной редакции оно было датировано 1917 годом и воспроизведено в другой графической аранжировке.

Кириллова Е. О. Русская футуристическая поэзия на Дальнем Востоке 1917–1922 гг.: идейно-художественные искания, поэтические имена: Дис. ... канд. филол. наук. Владивосток, 2007. 258 с.

Кириллова Е. О. Дальневосточная гавань русского футуризма. Книга первая. Модернистские течения в литературе Дальнего Востока России 1917–1922 гг. (Поэтические имена, идейно-художественные искания): Монография. Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2011. 636 с.

Крусанов А. В. Русский авангард: 1907–1932 (Исторический обзор): В 3 т. М.: Новое литературное обозрение, 2003. Т. 2, кн. 2: Футуристическая революция (1917–1921). 608 с.

Русская поэзия «серебряного века», 1890–1917: Антология. М.: Наука, 1993. 784 с.

Русские советские писатели. Поэты: Биобиблиографический указатель. М.: Книга, 1978. Т. 2: Асеев – Бедный. 536 с.

Сологуб Ф. К. Собр. соч. СПб.: Шиповник, 1911. Т. 10: Сказочки и статьи. 230 с.

Третьяков С. Бирюч // Бирюч. Владивосток: Общедоступная книга. 1920. С. 3.

Устинов А., Лоцилов И. Песни и легенды будетлянского скифства: Николай Асеев, в журнале «Проталинка» // Детские чтения. 2018. № 2 (14). С. 150–209.

Хлебников В. В. Собр. соч.: В 6 т. / ИМЛИ РАН. М.: Наследие, 2000. Т. 1: Литературная автобиография. Стихотворения 1904–1916. 544 с.

Архивы

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ), Москва

Article metadata

Title: Nikolay Aseev: From Publications in Print Media of the Far East (1918–1920) *

Authors: E. V. Kapinos ¹, I. E. Loshchilov ²

Authors' e-mail: ¹ dzerv@mail.ru, ² loshch@yandex.ru

Authors' affiliation: Institute of Philology SB RAS (Novosibirsk, Russian Federation)

Abstract. The publication includes 3 texts of Nikolay Aseev: two short novels “About human condolence” (1918) and “The pointless story” (1919), and the article “Name exchange” (1920). They were published once in the unpopular

* This work was supported by a grant from the Russian Science Foundation No. 19-18-00127 “Siberia and the Far East of the First Half of the 20th Century as a Space for Literary Transfer”.

and hard-to-get magazines “The Great Ocean”, “Bellow”, “Creativity” and never again, – like many other Aseev’s works, written in the Far Eastern period. However, they represent the groundbreaking poetics, its basics were laid in the age of “Centrifuge”, which the poet dishonored, assumed the mantle of “the back-seat role by Mayakovskiy” (M. L. Gasparov).

The short novel “About human condolence” incorporated the traumatic experience of the witness and the party involved in the civil war, the article “Name exchange” and “The pointless story” contains the detailed reflections, related to crisis events in language and literature.

The publication is provided with the opening clause with the summary about N. Aseev and the Far Eastern period of his novelism (late 1917 – January 1922). There are also some contexts reviewed, crucial for comprehension of the published works. “The pointless story” and “Name exchange” are compared to dissertations, articles and essays of V. Khlebnikov, S. Esenin, O. Mandelstam, Yu. Tynyanov.

Key terms: avant-garde, Far Eastern avant-garde, “Centrifuge”, N. Aseev, S. Tretyakov, “Creativity”, “Bellow”, magazine, “Great Ocean” magazine, prose of futurists.

DOI 10.25205/2307-1737-2020-1-292-322

Reference literature (in transliteration):

[Anonymous] Ot redaktsii. *Biryuch*, 1920, p. 3. (in Russ.)

[Anonymous] Roman o Mayakovskom. *Literaturnaya gazeta [Literary newspaper]*, 1935, no. 70 (561), December 20, p. 6. (in Russ.)

Aseev N. N. Oktyabr’ na Dal’nem. *Novyj Lef [New LEF]*, 1927, no. 8–9, p. 38–49. (in Russ.)

Aseev N. N. Zhizn’ slova. *Novyj mir [The New World]*, 1951, no. 4, p. 176–192. (in Russ.)

Aseev N. N. Zor [Zor]. Moscow, Liren’ Publ., 1914, 16 p. [Lithography]. (in Russ.)

Aseev N. Ukhvat yazyka. Pristavki. In: *Vremennik [Annals]*. Moscow, [Tipo-litografiya Tovarishhestva I. N. Kushnerev i K^o], 1917, p. 5. (in Russ.)

Aseev N., Petnikov G. Letorej: Kniga stikhov [Letorej, The Book of poems]. Moscow, Liren’ Publ., 1915, 32 p. (in Russ.)

Aseev N. N. Bomba [The Bomb]. *Stikhi*. Vladivostok, Dal’nevostochnaya tribuna Publ., 1921, 62 p. (in Russ.)

Aseev N. N. Rodoslovnaya poezii [The Genealogy of poetry]. Comp. A. M. Kryukova, S. S. Lesnevskiy, intr. by L. A. Ozerov, comment. by A. M. Kryukova. Moscow, Sovetskij pisatel’ Publ., 1990, 557 p. (in Russ.)

Gasparov M. L. Semen Kirsanov, znamenosec sovetskogo formalizma. In: *Kirsanov S. I. Stikhotvoreniya i poemy [Poems and long poems]*. St. Petersburg, Akademicheskij proekt Publ., 2006, p. 5–18. (Series: Novaya biblioteka poeta) (in Russ.)

Gasparov M. L. Vospominaniya o S. P. Bobrove. In: Blokovskij sbornik XII [Studies of A. Block]. Tartu, IC-Garant, 1993, p. 179–195. (in Russ.)

Gin Ya. I. O “poeticheskoy filologii”. In: Literaturnyj process i problemy literaturnoj kul’tury: Materialy dlya obsuzhdeniya [The Literary Process and the Problems of Literary Culture: Discussion Materials]. Tallinn, 1988, p. 20–22. (in Russ.)

Gogol N. V. Collected works. In 14 vols. Moscow, Leningrad, AS USSR Publ., 1951, vol. 6, 923 p. (in Russ.)

Khlebnikov V. V. Collected works. In 6 vols. Moscow, Nasledie Publ., 2000, vol. 1, 544 p. (in Russ.)

Khlebnikov V. V. Collected works. In 6 vols. Moscow, Nasledie Publ., 2000, vol. 1, 544 p. (in Russ.)

Kirilova E. O. Russkaya futuristicheskaya poeziya na Dal’nem Vostoke 1917–1922 gg.: idejno-hudozhestvennye iskanija, poeticheskie imena [Russian futurist poetry in the Far East 1917–1922: ideological and artistic searches, poetic names]. Diss. Cand. Philol. Sci. Vladivostok, 2007, 258 p. (in Russ.)

Kirilova E. O. Dal’nevostochnaya gavan’ russkogo futurizma. Kniga pervaya. Modernistskie techeniya v literature Dal’nego Vostoka Rossii 1917–1922 gg. (Poeticheskie imena, idejno-hudozhestvennye iskanija) [Far Eastern harbor of Russian futurism. Book one. Modernist trends in the literature of the Russian Far East 1917–1922 (Poetic names, ideological and artistic searches)]. Monograph. Vladivostok, Far East Federal Publ., 2011, 636 p. (in Russ.)

Krusanov A. V. Russkij avangard: 1907–1932 (Istoricheskij obzor) [Russian Avant-garde: 1907–1932 (Historical overview)]. In 3 vols. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2003, vol. 2, book 2, 608 p. (in Russ.)

Russkaya poeziya “serebryanogo veka”, 1890–1917 [Russian poetry of the Silver Age, 1890–1917]. The Anthology. Moscow, Nauka Publ., 1993, 784 p. (in Russ.)

Russkie sovetskie pisateli. Poety [Russian Soviet writers. Poets]. Bibliographic Index. Moscow, Kniga, 1978, vol. 2: Aseev – Bedny, 536 p. (in Russ.)

Sologub F. K. Collected works. St. Petersburg, Shipovnik Publ., 1911, vol. 10, 230 p. (in Russ.)

Tretyakov S. Biryuch. *Biryuch*, 1920, p. 3. (in Russ.)

Ustinov A., Loshchilov I. Pesni i legendy budetlyanskogo skifstva: Nikolaj Aseev v zhurnale «Protalinka». *Detskie chteniya* [Studies in Literature for Children], 2018, no. 2 (014), p. 150–209. (in Russ.)

Vospominaniya o Nikolae Aseeve [Memories about Nikolai Aseev]. Comp. K. M. Aseeva, O. G. Petrovskaya. Moscow, Sovetskij pisatel’ Publ., 1980, 303 p. (in Russ.)

Archives

Rossijskij gosudarstvennyj arhiv literatury i iskusstva [Russian State Archive of Literature and Art] (RGALI), Moscow